



rocket**book**

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Со мною вот что
происходит...



Евгений Александрович Евтушенко

Со мною вот что происходит...

Серия «Pocket book. Русская классика»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69970261

Е. А. Евтушенко. Со мною вот что происходит...: ООО «Издательство

«Эксмо»; Москва; 2024

ISBN 978-5-04-195601-1

Аннотация

В сборник выдающегося поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко вошли лучшие произведения всенародно любимого мастера, автора строк «Людей неинтересных в мире нет...», «Поэт в России больше, чем поэт...», знаменитых поэм и стихотворений. Лирика Евтушенко сочетает в себе мощь поэтического дара, яркую метафоричность и высокую гражданскую ответственность. Запомнившаяся миллионам читателей поэзия Евтушенко остаётся удивительно актуальной по сей день – вызывая споры, восхищение и удивление, неизменно волнуя человеческие души.

Евгений Евтушенко

Со мною вот что происходит...

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

К. Шульженко

А снег повалится, повалится,
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится
и, как в воронку, втянет в грех,
и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая накрашенной
при беспристрастном свете дня,
цыганкой, мною наигравшейся,
оставит молодость меня.

Начну я жизнь переиначивать,
свою наивность застыжу
и сам себя, как пса бродячего,
на цепь угрюмо засажу.

Но снег повалится, повалится,
закружит все веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,
и цепи я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, покатится
к сапожкам чьим-то там, внизу...

1966

* * *

Дорога в дождь – она не сладость.
Дорога в дождь – она беда.
И надо же – какая слякоть,
какая долгая вода!

Все затемненно – поле, струи,
и мост, и силуэт креста,
и мокрое мерцанье сбруи,
и всплески белые хвоста.

Еще недавно в чьем-то доме,
куда под праздник занесло,
я мандариновые дольки
глотал непризнанно и зло.

Все оставляло злым, голодным —
хозяйка пышная в песце
и споры о романе модном
и о приехавшем певце.

А нынче – поле с мокрой рожью,
дорога, дед в дождевике,
и тяжелы сырые вожжи

в его медлительной руке.

Ему б в тепло, и дела мало!

Ему бы водки да пивца!

Не знает этого романа,

не слышал этого певца.

Промокла кляча, одурела.

Тоскливо хлюпают следы.

Зевает возчик. Надоело

дождь вытряхать из бороды.

1959

Белые ночи в Архангельске

Белые ночи – сплошное «быть может»...

Светится что-то и странно тревожит —
может быть, солнце, а может, луна.

Может быть, с грустью, а может, с весельем,
может, Архангельском, может, Марселем
бродят новехонькие штурмана.

С ними в обнимку официантки,
а под бровями, как лодки-ледянки,
ходят, покачиваясь, глаза.

Разве подскажут шалонника гулы,
надо ли им отстранять свои губы?

Может быть, надо, а может, нельзя.

Чайки над мачтами с криками выются —
может быть, плачут, а может, смеются.

И у причала, прощаясь, моряк
женщину в губы целует протяжно:
«Как твое имя?» – «Это не важно...»
Может, и так, а быть может, не так.

Вот он восходит по трапу на шхуну:
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»
Ну, а забыл, что не знает – куда.
Женщина молча стоять остается.
Кто его знает – быть может, вернется,
может быть, нет, ну а может быть, да.

Чудится мне у причала невольно:
чайки – не чайки, волны – не волны,
он и она – не он и она:
все это – белых ночей переливы,
все это – только наплывы, наплывы,
может, бессонницы, может быть, сна.

Шхуна гудит напряженно, прощально.
Он уже больше не смотрит печально.
Вот он, отдельный, далекий, плывет,

смачно спуская солёные шутки
в может быть море, на может быть шхуне,
может быть, тот, а быть может, не тот.

И безымянно стоит у причала —
может, конец, а быть может, начало —
женщина в легоньком сером пальто,
медленно тая комочком тумана, —
может быть, Вера, а может, Тамара,
может быть, Зоя, а может, никто...

15 июля 1964

* * *

Нас в набитых трамваях болтает.
Нас мотает одна маета.
Нас метро то и дело глотает,
выпуская из дымного рта.

В смутных улицах, в белом порханье
люди, ходим мы рядом с людьми.
Перемешаны наши дыханья,
перепутаны наши следы.

Из карманов мы курево тянем,
популярные песни мычим.

Задевая друг друга локтями,
извиняемся или молчим.

Все, что нами открылось, узналось,
все, что нам не давалось легко,
все сложилось в большую усталость
и на плечи и души легло.

Неудачи, борьба, непризнание
нас изрядно успели помять,
и во взглядах и спинах – сознание
невозможности что-то понять.

Декабрь 1956

Смеялись люди за стеной

Е. Ласкиной

Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.

Смеялись люди за стеной.
Они как будто издевались.
Они смеялись надо мной,
и как бессовестно смеялись!

На самом деле там, в гостях,
улав кружиться по паркету,
они смеялись просто так, —
не надо мной и не над кем-то.

Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали,
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.

Смеялись люди... Сколько раз
я тоже, тоже так смеялся,
а за стеною кто-то гас
и с этим горестно смирялся!

И думал он, бедой гоним
и ей почти уже сдаваясь,
что это я смеюсь над ним
и, может, даже издеваюсь.

Да, так устроен шар земной
и так устроен будет вечно:
рыдает кто-то за стеной,
когда смеемся мы беспечно.

Но так устроен мир земной

и тем вовек неувядаем:
смеется кто-то за стеной,
когда мы чуть ли не рыдаем.

И не прими на душу грех,
когда ты мрачный и разбитый,
там, за стеною, чей-то смех
сочесть завистливо обидой.

Как равновесье – бытие.
В нем зависть – самооскорбленье.
Ведь за несчастье твое
чужое счастье – искупленье.

Желай, чтоб в час последний твой,
когда замрут глаза, смыкаясь,
смеялись люди за стеной,
смеялись, все-таки смеялись!

5 апреля 1963,

Коктебель

* * *

Паровозный гудок,
журавлиные трубы,
и зубов холодок

сквозь раскрытые губы.

До свиданья, прости,
отпусти, не неволь же!
Разойдутся пути
и не встретятся больше.

По дорогам весны
поезда будут мчаться,
и не руки, а сны
будут ночью встречаться.

Опустевший вокзал
над сумятицей судеб...
Тот, кто горя не знал,
о любви пусть не судит.
1951

Вальс на палубе

Спят на борту грузовики,
спят
краны.
На палубе танцуют вальс
бахилы,
кеды.
Все на Камчатку едут здесь —

в край
крайний.

Никто не спросит: «Вы куда?» —
лишь:

«Кем вы?»

Вот пожилой мерзлотовед.

Вот

парни —

торговый флот – танцуют лихо:

есть

опыт!

На их рубашках Сингапур,

пляж,

пальмы,

а въелись в кожу рук металл,

соль,

копоть.

От музыки и от воды

плеск,

звоны.

Танцуют музыка и ночь

друг

с другом.

И тихо кружится корабль,

мы,

звезды,

и кружится весь океан

круг

за кругом.

Туманен вальс, туманна ночь,

путь

дымчат.

С зубным врачом танцует

кок

Вася.

И Надя с Мартой из буфета

чуть

дышат —

и очень хочется, как всем,

им

вальса.

Я тоже, тоже человек,

и мне

надо,

что надо всем. Быть одному

мне

мало.

Но не сердитесь на меня

вы,

Надя,

и не сердитесь на меня

вы,

Марта.

Да, я стою, но я танцую!

Я

в роли

довольно странной, правда, я

в ней

часто.

И на плече моем руки

нет

вроде,

и на плече моем рука

есть

чья-то.

Ты далеко, но разве это

так

важно?

Девчата смотрят – улыбнусь

им

бегло.

Стою – и все-таки иду

под плеск

вальса.

С тобой иду! И каждый вальс

твой,

Белла!

С тобой я мало танцевал,

и лишь
выпив,
и получалось-то у нас —
так
слабо.

Но лишь тебя на этот вальс
я

выбрал.

Как горько танцевать с тобой!

Как

сладко!

Курилы за бортом плывут...

В их складках

снег

вечный.

А там, в Москве, – зеленый парк,

пруд,

лодка.

С тобой катается мой друг,

друг

верный.

Он грустно и красиво врет,

врет

ловко.

Он заикается умело.

Он

МОЛИТ.

Он так богато врет тебе
и так
бедно!

И ты не знаешь, что вдали,
там,
в море,
с тобой танцую я сейчас
вальс,
Белла.
1957

Последняя попытка

*Маше,
подарившей мне с тех пор,
как было написано это стихотворение,
двух сыновей: Митю и Женю*

Последняя попытка стать счастливым,
припав ко всем изгибам, всем извилам
лепечущей дрожащей белизны
и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,
как будто призрак мой перед обрывом
и хочет прыгнуть ото всех обид
туда, где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости
присела, отдыхая, стрекоза,
и муравьи спокойно ходят в гости
в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,
я выбрался из крошева костей,
но в призраках мне быть осточертело,
и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак пострашнее трупа,
а ты не испугалась, поняла,
и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,
но, распростерши белые крыла,
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,
а на тумане, нас держащем еле.
Я – призрак. Я уже не разобьюсь.
Но ты – живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом
и ждет свежинки – как на поле битв.
Последняя попытка стать счастливым,
последняя попытка полюбить.

1986, Петрозаводск

Допотопный человек

Человек седой, но шумный,
очень добрый, но неумный,
очень умный, молодой,
с громогласными речами,
с черносливными глазами
и библейской бородой.

Раскулачивал в тридцатых,
выгребая ржи остаток
по сараям, по дворам.

Был отчаянно советский,
изучал язык немецкий
и кричал: «Но пасаран!»

И остался он вчерашним,
на этапах и в шарашке,
МОПРа бывшего полпред,
и судьбы своей несчастье
воспринять хотел как частность
исторических побед.

Он постукивает палкой,
снова занят перепалкой.

Распесочить невтерпеж
и догматика, и сноба.
Боже мой – он верит снова,
а во что – не разберешь.

Ребе и полуребенок,
бузотер, политработник,
меценат, но без гроша.
И не то чтоб золотая,
но такая заводная,
золотистая душа.

Гениален, без сомнений,
он, хотя совсем не гений,
но для стольких поколений
он – урок наверняка,
весел, как апаш в Париже,
грустен, как скрипач на крыше,
где с ним рядом – облака.

Он остался чистым-чистым
интернационалистом
и пугает чем-то всех
тенью мопровской загробной
неудобный, бесподобный
допотопный человек.

1968

Каинова печать

Памяти Р. Кеннеди

Брели паломники сирые
в Мекку
по серой Сирии.

Скрюченно и поломанно
передвигались паломники,
от наваждений
и хаоса —
каяться,
каяться,
каяться.

А я стоял на вершине
грешником
нераскаянным,
где некогда —
не ворошите! —
Авель убит был Каином.
И – самое чрезвычайное
из всех сообщений кровавых,
слышалось изначальное:
«Каин,
где брат твой, Авель?»
Но вдруг —

голоса фарисейские,
фашистские,
сладко-злодейские:
«Что вам виденья отжитого?
Да, перегнули с Авелем.
Конечно, была ошибочка,
но, в общем-то, путь был правилен...»
И мне представился каменный
угрюмый детдом,
где отравленно
кормят детеныши Каиновы
с ложечки ложью —
Авелевых.
И проступает,
алая,
когда привыкают молчать,
на лицах детей Авеля
каинова печать.
Так я стоял на вершине
меж праотцев и потомков
над миром,
где люди вершили
растленье себе подобных.
Безмолнийно было,
безгромно,
но камни взывали ребристо:

«Растление душ бескровно,
но это —
братоубийство».

А я на вершине липкой
стоял,
ничей не убийца,
но совесть
библейской уликой
взывала:

«Тебе не укрыться!
Свой дух растлеваешь ты ложью,
и дух крошится,
дробится.

Себя убивать —
это тоже братоубийство.

А скольких женщин
ты сослепу
в пути растоптал,
как распятыя.

Ведь женщины —
твои сестры,
а это больше,
чем братья.

И чьи-то серые,
карие

глядят на тебя
без пощады,
и вечной печатью каиновой
ко лбу прирастают взгляды...
Что стоят гусарские тосты
за женщин?
Бравада, отписка...
Любовь убивать —
это тоже братоубийство...»

Я вздрогнул:
«Совесьть, потише...
Ведь это же несравнимо,
как сравнивать цирк для детишек
с кровавыми цирками Рима».

Но тень изможденного Каина
возникла у скал угловато,
и с рук нескончаемо капала
кровь убиенного брата.

«Взгляни —
мои руки кровавы.
А начал я с детской забавы.
Крылья бабочек бархатных
ломал я из любопытства.

Все начинается с бабочек.

После —
братоубийство».

И снова сказала,
провидица,
с пророчески-горькой печалью
совесть моя —
хранительница
каиновой печати:

«Что вечности звездной, безбрежной
ты скажешь,
на суд ее явленный?

«Конечно же, я не безгрешный,
но, в общем-то, путь мой правилен»?

Ведь это возводят до истин
все те, кто тебе ненавистен,
и человечинной жженой

«винстоны» пахнут

и «кенты»,

и пуля,

пройдя сквозь Джона,
сражает Роберта Кеннеди.

И бомбы землю пытаются,
сжигая деревни пламенем.

Конечно, в детей попадают,

но, в общем-то, путь их правилен...

Каин во всех таится
и может вырасти тайно.
Единственное убийство
священно —
убить в себе Каина!»

И я на вершине липкой
у вечности перед ликом
разверз мою грудь неприкаянно,
душа

в зародыше
Каина.

Душил я все подлое,
злое,
все то, что может быть подло,
но крылья бабочек сломанные
соединить было поздно.

А ветер хлестал наотмашь,
невидимой кровью намокший,
как будто страницы Библии
меня
по лицу
били...

1967

* * *

Не понимаю,
что со мною случилось?
Усталость, может, —
может, и усталость.
Расстраиваюсь быстро
и грустнею,
когда краснеть бы нечего —
краснею.

А вот со мной недавно было в ГУМе,
да, в ГУМе,
в мерном рокоте
и гуле.

Там продавщица с завитками хилыми
руками неумелыми и милыми
мне шею обернула сантиметром.
Я раньше был несклонен к сантиментам,
а тут гляжу,
и сердце болью сжалось,
и жалость,
понимаете вы,
жалость
к ее усталым чистеньким рукам,
к халатику

и хилым завиткам.

Вот книга...

Я прочесть ее решаю!

Глава —

ну так,

обычная глава,

а не могу прочесть ее —

мешают

слезами заслоненные глаза.

Я все с собой на свете перепутал.

Таюсь,

боюсь искусства, как огня.

Виденья Малапаги,

Пера Гюнта, —

мне кажется,

все это про меня.

А мне бубнят,

и нету с этим сладу,

что я плохой,

что с жизнью связан слабо.

Но если столько связано со мною,

я что-то значу, видимо,

и стою?

А если ничего собой не значу,

то отчего же

мучаюсь и плачу?!

1956

Коровы

Все в чулках речного ила —
помню — тихо шли стада,
а когда все это было —
не могу сказать когда.
Масти черной, масти пегой
шли коровы под горой...
Год был вроде сорок первый
или год сорок второй.
Не к врачам, не для поправки,
все в репейнике, в пыли,
их к вагонам для отправки
молча школьники вели.
И со всеми я, усталый,
замыкающий ряды,
шел в буденовке линиялой
с темным следом от звезды...
Ах, коровы, ах, коровы!
Как вносили вы в луга,
словно царские короны,
ваши белые рога!
Вы тихонечко мычали,
грустно терлись о кусты
или попросту молчали

и роняли с губ цветы...
А теперь – коров к вагонам
подводили, и бойцы
с видом – помню – чуть смущенным
с них снимали бубенцы.
Рядом пили, рядом пели,
но открылся путь вдали,
и вагоны закрипели,
закрипели и пошли.
И какой-то оробелый
с человеческим лицом
в дверь смотрел теленок белый
рядом с худеньким бойцом.
Он глядел, припав к шинели,
на поля и на леса,
а глаза его синели,
как Есенина глаза...

12 ноября 1957

Исповедальня

Окошечко исповедальни.
Сюда, во благостную тьму,
потертый лик испитой дамы
с надеждой тянется к нему.

Дитя неапольских окраин

в сторонке очереди ждет,
раскрытой Библией скрывая
свой недвусмысленный живот.

Без карабина и фуражки
карабинер пришел на суд,
и по спине его мурашки
под формой грозною ползут.

Несут хозяйки от лоханей,
от ипподромов игроки
и то, что кажется грехами,
и настоящие грехи.

А где моя исповедальня?
Куда приду, смиряя страх,
с греховной пылью, пылью дальней
на заблудившихся стопах?

Я позабуду праздность, леность,
скажите адрес – я найду.
Но исповедоваться лезут
уже ко мне, как на беду.

Чему научит исповедник
заблудших, совестью больных,

когда и сам он из последних
пропащих грешников земных?!

Мы ближним головы морочим,
когда с грехами к нам бегут.
Но говорят, что люди, впрочем,
вовсю на исповедях лгут.
А исповедник, это зная,
и сам спасительно им лжет,
и ложь уютная, двойная
приятно нежит, а не жжет.

Но верить вере я не вправе,
хоть лоб о плиты размозжи,
когда, почти как правда правде,
ложь исповедуется лжи.

1965

* * *

Достойно, главное, достойно
Любые встретить времена,
Когда эпоха то застойна,
То взбаламучена до дна.

Достойно, главное, достойно,

Чтоб раздаватели щедрот
Не довели тебя до стойла
И не заткнули сеном рот.

Страх перед временем – паденье,
На трусость душу не потратить,
Но приготовь себя к потере
Всего, что страшно потерять.

И если все переломалось,
Как невозможно предрешить,
Скажи себе такую малость:
«И это надо пережить...»

10 февраля 1976

* * *

Есть пустота от смерти чувств
и от потери горизонта,
когда глядишь на горе сонно
и сонно радостям ты чужд.
Но есть иная пустота.
Нет ничего ее священной.
В ней столько звуков и свечений.
В ней глубина и высота.

Мне хорошо, что я в Крыму
живу, себя от дел отринув,
в несуетящемся кругу,
кругу приливов и отливов.

Мне хорошо, что я ловлю
на сизый дым похожий вереск,
и хорошо, что ты не веришь,
как сильно я тебя люблю.

Иду я в горы далеко,
один в горах срываю груши,
но мне от этого не грустно, —
вернее, грустно, но легко.

Срываю розовый кизил
с такой мальчишескостью жадной!
Вот он по горлу заскользил —
продолговатый и прохладный.

Лежу в каком-то шалаше,
а на душе так пусто-пусто,
и только внутреннего пульса
биенье слышится в душе.

О, как над всею суетой

блаженна сладость напоенья
спокойной светлой пустотой —
предшественницей наполнения!
1960

* * *

Я шатаюсь в толкучке столичной
над веселой апрельской водой,
возмутительно нелогичный,
непростительно молодой.

Занимаю трамваи с бою,
увлеченно кому-то лгу,
и бегу я сам за собою,
и догнать себя не могу.

Удивляюсь баржам бокастым,
самолетам, стихам своим...
Наделили меня богатством,
Не сказали, что делать с ним.
1954

Третий снег

С. Щипачеву

Смотрели в окна мы, где липы

чернели в глубине двора.

Вздохали: снова снег не выпал,
а ведь пора ему, пора.

И снег пошел, пошел под вечер.

Он, покидая высоту,
летел, куда подует ветер,
и колебался на лету.

Он был пластинчатый и хрупкий
и сам собою был смущен.

Его мы нежно брали в руки
и удивлялись: «Где же он?»»

Он уверял нас: «Будет, знаю,
и настоящий снег у вас.

Вы не волнуйтесь – я растаю,
не беспокойтесь – я сейчас...»

Был новый снег через неделю.

Он не пошел – он повалил.

Он забивал глаза метелью,
шумел, кружил что было сил.

В своей решимости упрямой
хотел добиться торжества,

чтоб все решили: он тот самый,
что не на день и не на два.

Но, сам себя таким считая,
не удержался он и сдал.
и если он в руках не таял,
то под ногами таять стал.

А мы с тревогою все чаще
опять глядели в небосклон:
«Когда же будет настоящий?
Ведь все же должен быть и он».

И как-то утром, вставши сонно,
еще не зная ничего,
мы вдруг ступили удивленно,
дверь отворивши, на него.

Лежал глубокий он и чистый
со всею мягкой простотой.
Он был застенчиво-пушистый
и был уверенно-густой.

Он лег на землю и на крыши,
всех белизною поразив,
и был действительно он пышен,

и был действительно красив.

Он шел и шел в рассветной гамме
под гуд машин и храп коней,
и он не таял под ногами,
а становился лишь плотней.

Лежал он, свежий и блестящий,
И город был им ослеплен.
Он был тот самый. Настоящий.
Его мы ждали. Выпал он.
1953

* * *

Пахнет засолами,
пахнет молоком.
Ягоды засохлые
в сене молодом.

Я лежу,
чего-то жду
каждою кровинкой,
в темном небе
звезду
шевелю травинкой.

Все забыл,
все забыл,
будто напахался, —
с кем дружил,
кого любил,
над кем надсмехался.

В небе звездно и черно.
Ночь хорошая.
Я не знаю ничего,
ничегошеньки.

Баловали меня,
а я —
как небалованный,
целовали меня,
а я —
как нецелованный.

1956

* * *

Бывало, спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина из полумрака

глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет
на куртку рыжую мою
и мне,
задумчивая,
скажет:
«А ну-ка, спой!..» —
и я пою.

Лежит, отдавшаяся песням,
и подпевает про себя,
рукой с латышским светлым перстнем
цветок алтайский теребя.

Мы были рядом в том походе.
Все говорили, что она
и рассудительная вроде,
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных
я замыкался и молчал,
когда лысеющий топограф
меня лениво поучал:

«Таких встречаешь, брат, не часто.

В тайге все проще, чем в Москве.
Да ты не думай, что начальство!
Такая ж баба, как и все...»

А я был тихий и серьезный
и в ночи длинные свои
мечтал о пламенной и грозной,
о замечательной любви.

Но как-то вынес одеяло
и лег в саду,
а у плетня
она с подругою стояла
и говорила про меня.

К плетню растерянно приникший,
я услышал в тени ветвей,
что с нецелованным парнишкой
занятно баловаться ей...

Побрел я берегом туманным,
побрел один в ночную тьму,
и все казалось мне обманным,
и я не верил ничему.

Ни песням девичьим в долине,

ни воркованию ручья...
Я лег ничком в густой полыни,
и горько-горько плакал я.

Но как мое,
мое владенье,
в текучих отблесках огня
всходило смутное виденье
и наплывало на меня.

Я видел —
спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина
из полумрака
глазами зыбкими глядит.
1956

* * *

Г. Маю
Упала капля и пропала
в седом виске...
Как будто тихо закопала
себя в песке...
И дружба, и любовь не так

ли соединены,
как тающее тело капли
внутри седины.
Когда есть друг, то безлюбовье
не страшно нам,
хотя и дразнит бес легонько
по временам.

Бездружье пропастью не станет,
когда любовь
стеной перед обрывом ставит
свою ладонь.

Страшней, когда во всеоружье
соединясь,
и безлюбовье, и бездружье
окажут нас.

Тогда себя в разгуле мнимом
мы предаем.

Черты любимых нелюбимым
мы придаем.

Блуждая в боли, будто в поле,
когда пурга,
мы ищем друга поневоле
в лице врага.

Ждать утешения наивно

из черствых уст.

Выпрашиванье чувств противно
природе чувств.

И человек чужой, холодный
придет в испуг
в ответ на выкрик сумасбродный:
«Товарищ, друг!»

И женщина вздохнет чуть слышно
из теплой мглы,
когда признанья ваши лишни,
хотя милы.

И разве грех, когда сквозь смуту,
грызню, ругню
так хочется сказать кому-то:
«Я вас люблю!»

1974

* * *

Я люблю тебя больше природы,
Ибо ты как природа сама,
Я люблю тебя больше свободы,
Без тебя и свобода тюрьма!

Я люблю тебя неосторожно,
Словно пропасть, а не колею!

Я люблю тебя больше, чем можно!
Больше, чем невозможно, люблю!

Я люблю безрассудно, бессрочно.
Даже пьянствуя, даже грубя.
И уж больше себя – это точно.
Даже больше, чем просто себя.

Я люблю тебя больше Шекспира,
Больше всей на земле красоты!
Даже больше всей музыки мира,
Ибо книга и музыка – ты.

Я люблю тебя больше славы,
Даже в будущие времена!
Чем заржавленную державу,
Ибо Родина – ты, не она!

Ты несчастна? Ты просишь участия?
Бога просьбами ты не гневи!
Я люблю тебя больше счастья!
Я люблю тебя больше любви!

1995



Не умею прощаться.
К тем, кого я любил,
избегал беспощадства,
груб нечаянно был.

Тех, кто вдруг стал нечисто
жить лишь сам для себя,
я прощать научился,
правда, их разлюбя.

Но прощаю заблудших
не со зла – впопыхах,
в ком есть все-таки лучик
покаянья в грехах.

А себе не прощаю
всех оскользных стихов.
Я не из попрошаек
отпущенья грехов.

Я прощаю всех слабых —
милых пьяниц, нерях,
но кому не был сладок

чей-то крах, чей-то страх.

Лучше, чем беспощадство,
сердце к сердцу прижать.

Не умею прощаться.

Научился прощать.

2013

Глубина

Будил захвоенные дали

рев парохода поутру,

а мы на палубе стояли

и наблюдали Ангару.

Она летела озаренно,

и дно просвечивало в ней

сквозь толщу волн светло-зеленых

цветными пятнами камней.

Порою, если верить глазу,

могло казаться на пути,

что дна легко коснешься сразу,

лишь в воду руку опусти.

Пусть было здесь немало метров,

но так вода была ясна,

что оставалась неприметной

ее большая глубина.

Я знаю: есть порой опасность

в незамутненности волны,
ведь ручейков журчащих ясность
отнюдь не признак глубины.
Но и другое мне знакомо,
и я не ставлю ни во грош
бессмысленно глубокий омут,
где ни черта не разберешь.
И я хотел бы стать волною
реки, зарей пробитой вкось,
с неизмеримой глубиною
и каждым
камешком
насквозь!

1952

Стекло́нный госпо́дин

Жил-был одинокий господин.

Был он очень странный
тем, что был стеклянный.

День... день... день...

Он в звон,

как в доспехи, был одет.

Счастлив или мрачен,
был он весь прозрачен —
был поэт.

«Он – трус!» —

так над ним смеялась шваль,
но просто жаль об эту шваль
разбить хрусталь.

Матюгами, утюгами
и смазными сапогами
все швыряли и орали,
и раздался вдруг печальный
хруст серебряный, прощальный,
умирающий, хрустальный
хруст, хруст, хруст.

Где тот
одинокий господин?
В гробе деревянном,
вовсе не стеклянном,
он один.

Он
звон
спрятал там, где нет ни зги.
Лучше быть убитым, чем людьми
разбитым
вдребезги.

Тот, кто с хрустальной душой,
тот наказан расплатой большой.

Остаются лишь крошки стекла.
Жизнь прошла.
«Нет, есть другой ответ:
будет много лет
Жить душа хрустальная...»
Шепчет хрустальная даль,
повторяет разбитый хрусталь,
повторяет звенящая синь:
День...
день...
день...
1990

Эстрада

Проклятие мое,
души моей растрата —
эстрада...

Я молод был.
Хотел на пьедестал,
хотел аплодисментов и букетов,
когда я вышел
и неловко стал
на тальке, что остался от балеток.
Мне было еще нечего сказать,
а были только звон внутри

и горло,
но что-то сквозь меня такое перло,
что невозможно сценою сковать.
И голосом ломавшимся моим
ломавшееся время закричало,
и время было мной,
и я был им,
и что за важность,
кто был кем сначала.
И на эстрадной огненной черте
вошла в меня невысказанность залов,
как будто бы невысказанность зарев,
которые таились в темноте.
Эстрадный жанр перерастал в призыв,
и оказалась чем-то третьим слава.
Как в Библии,
вначале было Слово,
ну, а потом —
сокрытый в слове взрыв.
Какой я Северянин,
дураки!
Слабы, конечно, были мои кости,
но на лице моем
сквозь желваки
прорезывался грозно Маяковский.
И, золотая вся от удалства,

дыша пшеничной ширью полевою,
Есенина шальная голова
всходила над моею головою.

Учителя,
я вас не посрамил,
и вам я тайно все букеты отдал.

Нам
вместе
аплодировал весь мир:
Париж, и Гамбург,
и Мельбурн,
и Лондон.

Но что со мной ты сделала —
ты рада,
эстрада?!

Мой стих не распустился,
не размяк,
но стал грубей и темой
и отделкой.

Эстрада,
ты давала мне размах,
но отбирала таинство оттенков.
Я слишком от натуги багровел.
В плакаты влез
при хитрой отговорке,

что из большого зала акварель
не разглядишь,
особенно с галерки.
Я верить стал не в тишину —
в раскат,
но так собою можно пробросаться.
Я научился замазывать,
врезать,
но разучился тихо прикасаться.

И было кое-что еще страшней:
когда в пальтишки публика влезала,
разбросанный по тысячам людей,
сам от себя
я уходил из зала.
А мой двойник,
от пота весь рябой,
сидел в гримерной,
конченный волшебник,
тысячелик
от лиц, в него вошедших,
и переставший быть самим собой...

За что такая страшная награда —
эстрада!
«Прощай, эстрада...» —

тихо прошепчу,
хотя забыл я, что такое шепот.
Уйду от шума в шелесты и шорох,
прижмусь березке к слабому плечу,
но, помощи потребовав моей,
как требует предгрозы взрыва,
взлома,
невысказанность далей и полей
подкатит к горлу,
сплавливаясь в слово.

Униженность и мертвых и живых
на свете,
что еще далек до рая,
потребует,
из связок горловых
мой воспаленный голос выдирая.
Я вас к другим поэтам не ревную.
Не надо ничего – я все отдам,
и глотку
да и голову шальную,
лишь только б лучше в жизни было вам!
Конечно, будет ясно для потомков,
что я —
увы! —
совсем не идеал,

а все-таки,
пусть грубо или тонко,
но чувства добрые я лирой пробуждал.
И прохриплю,
когда иссякших сил,
пожалуй, и для шепота на будет:
«Эстрада,
я уж был какой я был,
а так ли жил —
пусть бог меня рассудит».
И я сойду во мглу с тебя без страха,
эстрада...

1966

Предутро

Люблю, когда звездочки все еще тлеют,
но можно их детским дыханьем задуть,
а мир постепенно утреет, утреет,
хотя не мудреет при этом ничуть.

Я больше, чем утро, люблю поутренье,
когда, мошкару золотую мяса,
лучами пронизанные деревья
на цыпочках приподнимаются.

Люблю, когда в соснах во время пробежки

под полупроснувшихся птиц голоса
на шляпке сиреневой у сыроежки
по краешку вздрагивает роса.

Быть как-то неловко счастливым прилюдно.
Привычка скрывать свое счастье хитра,
но дайте счастливым побыть хоть под утро,
хотя все несчастья начнутся с утра.

Я счастлив, что жизнь моя вроде бы небыль,
а все же веселая дерзкая былъ,
что Бог мне ни злобы, ни зависти не дал,
что в грязь я не влип и не втоптан был в пыль.

Я счастлив, что буду когда-нибудь предком
уже не по клеткам рожденных внучат.
Я счастлив, что был оклеветан и предан —
ведь на живых, а не мертвых рычат.

Я счастлив любовью товарищей, женщин.
Их образы – это мои образа.
Я счастлив, что с девочкой русской обвенчан,
достойной того, чтоб закрыть мне глаза.

Россию любить – разнесчастное счастье.
К ней жилами собственными пришит.

Россию люблю, а вот все ее власти
хотел бы любить, но – простите – тошнит.

Люблю я зелененький, голуболобый
наш глобус-волчок со щеками в крови.
Я сам заводной. Я умру не от злобы,
а от непосильной для сердца любви.

Я жить не сумел безупречно, премудро,
но вспомните вы с неоплатной виной
мальчишку с глазами, где было предутро
свободы светающей – лучше дневной.

Я – несовершеннейшее творенье,
но, выбрав любимый мой час – поутренье,
Бог вновь сотворит до рождения дня
лучами пронизанные деревья,
любовью пронизанного меня.

1994

Три фигурки

По петрозаводскому перрону,
зыбкому, как будто бы парому,
шла моя любимая с детьми.
Дети с ней почти бежали рядом,
и меня упрашивали взглядом:

«Папа, ты на поезд нас возьми...»

Что-то в тебе стало от солдатки.
Все разлуки, словно игры в прятки.
Вдруг потом друг друга не найти?
Женщины в душе всегда готовы
молча перейти из жен во вдовы,
потому их так пронзают зовы
железнодорожного пути.

На перроне, став почти у края,
три фигурки уменьшались, тая.
Три фигурки – вся моя семья.
Монументы – мусор, как окурки.
Что осталось? Только три фигурки —
родина предсмертная моя.
1995 г.

Нет лет

Светлане Харрис

«Нет
лет...» —
вот что кузнечики стрекочут нам
в ответ
на наши страхи постаренья
и пьют росу до исступленья,

вися на стеблях на весу
с алмазинками на носу,
и каждый —
крохотный зелененький поэт.

«Нет
лет...» —
вот что звенит,
как будто пригоршня монет,
в кармане космоса дырявом горсть
планет,
вот что гремят, не унывая,
все недобитые трамваи,
вот что ребячий прутик пишет
на песке,
вот что, как синяя пружиночка,
чуть-чуть настукивает жилочка
у засыпающей любимой на виске.

Нет
лет.
Мы все,
впадая сдуру в стадность,
себе придумываем старость,
но что за жизнь,
когда она – самозапрет?

Копни любого старика
и в нем найдешь озорника,
а женщины немолодые —
все это девочки седые.
Их седина чиста, как яблоневого цвет.

Нет
лет.
Есть только чудные и страшные
мгновенья.
Не надо нас делить на поколения.
Всепоколенийность —
вот гениев секрет.
Уронен Пушкиным дуэльный
пистолет,
а дым из дула смерть не выдула
и Пушкина не выдала,
не разрешив ни умереть,
ни постареть.

Нет
лет.
А как нам быть,
негениальным,
но все-таки многострадальным,
чтобы из шкафа,

неодет,
с угрюмым грохотом обвальным,
грозя оскалом тривиальным,
не выпал собственный скелет?

Любить.

Быть вечным во мгновении.

Все те, кто любят, —

это гении.

Нет

лет

для всех Ромео и Джульетт.

В любви полмига —

полстолетия.

Полюбите —

не постареете —

вот всех зелененьких кузнечиков

совет.

Есть

весть,

и не плохая, а благая,

что существует жизнь другая,

но я смеюсь,

предполагая,

что сотня жизней не в другой,

а в этой есть
и можно сотни раз отцвесть
и вновь расцвесть.

Нет

лет.

Не сплю,

хотя давно погас в квартире свет

и лишь поскрипывает дряхлый

табурет:

«Нет

лет...

нет

лет...»

18 июля 1992,

станция Зима

Море

«Москва – Сухуми»

мчался через горы.

Уже о море

были разговоры.

Уже в купе соседнем практиканты

оставили

и шахматы

и карты. Курортники толпились в коридоре,

смотрели в окна:

«Вскоре будет море!»

Одни,

схватив товарищей за плечи,

свои припоминали

с морем встречи.

А для меня

в музеях и квартирах

оно висело в рамках под стеклом.

Его я видел только на картинах

и только лишь по книгам знал о нем.

И вновь соседей трогал я рукою,

и был в своих вопросах

я упрям:

«Скажите, – скоро?..»

А оно – какое?»

«Да погоди,

сейчас увидишь сам...»

И вот – рывок,

и поезд – на просторе,

и сразу в мире нету ничего:

исчезло все вокруг —

и только море,

затихло все,

и только шум его...

Вдруг вспомнил я:

со мною так же было.
Да, это же вот чувство,
но сильней,
когда любовь уже звала,
знобила,
а я по книгам только знал о ней.
Любовь за невниманье упрекая,
я приставал с расспросами к друзьям:
«Скажите, – скоро?..
А она – какая?»
«Да погоди,
еще узнаешь сам...» И так же,
как сейчас,
в минуты эти,
когда от моря стало так сине,
исчезло все —
и лишь она на свете,
затихло все —
и лишь слова ее...
1952 г.

* * *

Я что-то часто замечаю,
к чьему-то, видно, торжеству,
что я рассыпанно мечтаю,

что я растрепанно живу.

Среди совсем нестрашных с виду
полужеланий,

получувств

щемит:

неужто я не выйду,

неужто я не получусь?

Меня тревожит встреч напрасность,

что и ни сердцу, ни уму,

и та не праздничность,

а праздность,

в моем гостящая дому,

и недоверье к многим книжкам,

и в настроеньях разнбой,

и подозрительное слишком

неупоение собой...

Со всем, чем раньше жил, порву я,

забуду разную беду,

на землю, теплую,

парную,

раскинув руки,

упаду.

О мой ровесник,

друг мой верный!

Моя судьба —

в твоей судьбе.

Давай же будем откровенны
и скажем правду о себе.

Тревоги наши вместе сложим,
себе расскажем и другим,
какими быть уже не можем,
какими быть уже хотим.
Жалеть не будем об утрате,
самодовольство разлюбя.

Завязывается
характер
с тревоги первой за себя.

1967

Уходят матери

Уходят наши матери от нас,
уходят потихонечку,
на цыпочках,
а мы спокойно спим,
едой насытившись,
не замечая этот страшный час.
Уходят матери от нас не сразу,
нет —
нам это только кажется, что сразу.
Они уходят медленно и странно

шагами маленькими по ступеням лет.
Вдруг спохватившись нервно в кой-то год,
им отмечаем шумно дни рожденья,
но это запоздалое раденье
ни их,
ни наши души не спасет.
Все удаляются они,
все удаляются.
К ним тянемся,
очнувшись ото сна,
но руки вдруг о воздух ударяются —
в нем выросла стеклянная стена!
Мы опоздали.
Пробил страшный час.
Глядим мы со слезами потаенными,
как тихими суровыми колоннами
уходят наши матери от нас...
1960

Возрастная болезнь

Я заболел болезнью возрастной.
Не знаю, как такое получилось,
но все, что ни случается со мной,
мне кажется – давно уже случилось.

Приелись и объятья, и грызня.

Надеюсь, это временно. Надеюсь,
что я внезапно вылуплю глаза
на нечто, как на небоскреб индеец.

Я в опыте как будто как в броне,
и пуля, корча из себя пилюлю,
наткнется, как на медальон, на пулю,
давно уже сидящую во мне.

И радость, залетев на огонек,
в отчаянье сбивая с крыльев блестки,
о душу, как о лампу мотылек,
броней прозрачной замкнутую, бьется.

Попробуй сам себя восстанови!
Переболела плоть, перелюбила,
и жуть берет от холода в крови,
от ошущенья – это было, было.

Вот я иду сквозь тот же самый век,
ступая по тому же силуэту,
и снег летит, шипя, на сигарету,
на ту же сигарету тот же снег.

Повторы – за познание расплата.
И женщины как будто города,

в которых я уже бывал когда-то,
хотя не помню в точности, когда.

Я еще жив, я чувствовать хочу
все, как впервые, – в счастье и на казни,
но повторяюсь, если ввысь лечу,
и повторяюсь – мордой – в кровь —
о камни.

Неужто же единственный ответ,
что в жизни, где лишь видимость
просторов,
граница есть, когда познания нет,
а только вариации повторов?

Неужто не взорвусь, как аммонал,
а восприму, неслышно растворяясь,
что я уже однажды умирал
и умираю – то есть повторяюсь?

1968

Нежность

Разве же можно,
чтоб все это длилось?
Это какая-то несправедливость...
Где и когда это сделалось модным:

«Живым – равнодушье,
внимание – мертвым?»

Люди сутулятся,
выпивают.

Люди один за другим
выбывают,
и произносятся
для истории
нежные речи о них —
в крематории...

Что Маяковского жизни лишило?
Что револьвер ему в руки вложило?

Ему бы —
при всем его голосе,
внешности —
дать бы при жизни
хоть чуточку нежности.

Люди живые —
они утруждают.

Нежностью
только за смерть награждают.

1955 г.

Две любви

То ли все поцелуи проснулись,
горя на губах,

то ли машут дворы
рукавами плакучих рубаш,
упреждая меня
белой ночью, дразняще нагой,
от любви дорогой
не ходить за любовью другой.
То ли слишком темно на душе,
а на улице слишком светло,
то ли белая ночь,
то ли ангельское крыло.
Страшно жить без любви,
но страшнее, когда две любви
вдруг столкнутся, как будто в тумане
ночном корабли.
Две любви —
то ли это в подарок с опасным
избытком дано,
то ли это беда
прыгнет молнией ночью в окно,
рассекая кровать
раскаленным клинком пополам,
драгоценные некогда письма
сжигая, как хлам. Две любви —
то ли это любовь, то ли это война.
Две любви невозможны.
Убийцею станет одна.

Две любви, как два камня,
скорее утянут на дно.
Я боюсь полюбить,
потому что люблю, и давно.
1994

Нью-Йоркская элегия

С. Митман

В центральном парке города Нью-Йорка
среди ночей, прогнозувший, ничей,
я говорил с Америкой негромко —
мы оба с ней устали от речей.

Я говорил с Америкой шагами.
Усталые шаги земле не врут,
и отвечала мне она кругами
от мертвых листьев, падающих в пруд.

Шел снег... Себя он чувствовал неловко
вдоль баров, продолжающих гульбу,
сядась на жилы вспухшие неона
у города бессонного на лбу,
на бодрюю улыбку кандидата,
пытавшегося влезть не без труда,
куда не помню – помню, что куда-то, —
но снегу было все равно куда.

А в парке здесь он падал бестревожно,
и как на разноцветные плоты,
снежинки опускались осторожно
на тонущие медленно листы,
на шар воздушный, розовый и зыбкий,
о звезды сонно трущийся щекой,
прилепленный жевательной резинкой
к стволу сосны ребяческой рукой,
на чью-то позабытую перчатку,
на зоосад, спровадивший гостей,
и на скамейку с надписью печальной:
«Здесь место для потерянных детей».

Собаки снег потерянно лизали.
Мерцали белки у чугунных ваз
среди деревьев, потерянных лесами,
потерянными бусинками глаз.

Храня в себе угрюмо и сокрыто
безмолвно вопрошающий укор,
лежали глыбы грузные гранита —
потерянные дети бывших гор.

Жевали зебры за решеткой сено,
потерянно уставясь в темноту.

Моржи, вздымая морды из бассейна,
ловили снег усами на лету.

Моржи смотрели горько и туманно,
по-своему жалея, как могли,
потерянные дети океана,
людей – детей потерянных земли.

Я брел один, и лишь вдали за чащей,
как будто ночи пристальный зрачок,
перед лицом невидимо парящий
плыл сигареты красный светлячок.

И чудилось – искала виновато,
не зная, что об этом я молю,
потерянность неведомая чья-то
потерянность похожую мою.

И под бесшумным белым снегопадом,
объединявшим тайною своей,
Америка со мной садилась рядом
на место для потерянных детей.

1967

Дай Бог!

Дай Бог слепцам глаза вернуть

и спины выпрямить горбатым.
Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай Бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым – но не красть,
конечно, если так возможно.

Дай Бог быть тертым калачом,
не сожраным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.

Дай Бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.

Дай Бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.

Дай Бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.

Дай Бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лице.

Не крест – бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.

Чтоб не извериться во всем,
Дай Бог ну хоть немного Бога!

Дай Бог всего, всего, всего
и сразу всем – чтоб не обидно...

Дай Бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

1989

* * *

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалая и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз...
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно – возмездье – настает.

«Предатель!» – дождь тебя наотмашь бьет.

«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.

«Предатель!» – эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.

Ты сам себе все это не простишь.

И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя...

1961

* * *

Пришли иные времена.

Взошли иные имена.

Они толкаются, бегут.

Они врагов себе пекут,

приносят неудобства

и вызывают злобства.

Ну, а зато они – «вожди»,

и их девчонки ждут в дожди
и, вглядываясь в сумрак,
украдкой брови слюнят.

А где же, где твои враги?
Хоть их опять искать беги.
Да вот они – радушно
кивают равнодушно.

А где твои девчонки, где?
Для их здоровья на дожде
опасно, не иначе —
им надо внуков нянчить.

Украли всех твоих врагов.
Украли легкий стук шагов.
Украли чей-то шепот.
Остался только опыт.

Но что же ты загоревал?
Скажи – ты сам не воровал,
не заводя учета,
все это у кого-то?

Любая юность – воровство.
И в этом – жизни волшебство:

ничто в ней не уходит,
а просто переходит.

Ты не завидуй. Будь мудрей.
Воров счастливых пожалей.
Ведь как ни озоруют,
их тоже обворуют.

Придут иные времена.
Взойдут иные имена.
1963

* * *

Не понимать друг друга страшно —
не понимать и обнимать,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.